

Папе

Папа,
я тебя помню.
Я, знаешь, многое помню чётко.
Твой красно-серый свитер.
Синяки.
Стеклянные чётки,
которые ты зачем-то купил в поезде, в дупель пьяный.
И то, как ты впервые ударил маму.
И как мою скулу кулаком поправил.
Как плакал и обещал,
что завтра точно завяжешь,
а я поняла, что больше верить не надо.

Как впервые ставил меня на лыжи.
Сломала правую, и ты обещал новые.
Мне 30, новые лыжи я жду до сих пор.

Помню, как,
маленькую,
ты держал меня в воздухе.
На высоте в 30 метров.
На вытянутых руках.
Нет опоры.
Только воздух и только страх.
Каждый раз, когда ты напивался,
Я ощущала себя именно так.

А потом я выросла.
И ты называл моего мужа ручным Кинг-Конгом.
Ты его очень боялся.
И мне очень нравилось видеть это.
А седую прядь надо лбом
и глаза с тяжёлыми веками –

их вообще не забыть.
Каждое утро я вижу их в зеркале.

Знаешь, пап,
а я до сих пор пишу стихи –
те, что ты не читал.
Работаю в глупой профессии,
за которую ты обзывал меня паразиткой.
И отчего-то
до сих пор с тобой говорю.
Как будто ты слышишь.
Как будто всё ещё здесь.
Как будто теперь тебе будет не всё равно.

Папа,
как-то бездарно ты всё это пропил и прожил.
И где-то теперь потерялся.
Куда-то канул.
И ещё.
Мне сказали, я стала очень похожа
на гравюру с твоего могильного камня.

* * *

Я молчу, будто в горле застрял птенец.
Будто миг ещё, и, отчаянный, он разогнёт
Прутья связок голосовых. И забудётся нелепо,
И неловко и жалко шлёпнется перед тобой.

Так молчу, будто нечего больше сказать.
Будто ты уже знаешь всё про себя, про меня,
Про дурацкий вопрос, что повис между нами, как мост
Разводной. Шаг навстречу всегда приближает край.

И молчу. И птенца не гоню. И на мост не ступаю.
И несу свою ношу. Ты – драгоценный камень
На сердце моём. Безопасней писать стихи.
Потому что ты никогда не читаешь их.

Выхлест боли –
надо лбом пара новых седых.
Ни черта не ешь, по утрам с трудом разлепляешь веки.
Ты раскрылась, подставилась, пропустила удар под дых –
не влюбилась, нет.
Так говорили бабушки в прошлом веке.

Не влюбилась, нет.
Только как теперь с этим всем?
С этим ворохом, шорохом, стуком,
шершавостью в подреберье?
Ну, допустим, тебе 28.
А тут – мамочки! – 47.
Или, что ещё хуже, 17.
Ну сдавайся, вой, оседай под дверью.

Это просто попытка к бегству.
Это хочется в юность, туда,
где вообще-то проще простого –
вот так: глупой, свободной, разболтанной.
И тебя пока совсем никто не предал.
И экзамен на верность (двойка) ещё не сдан.
И ты видишь счастье –
те полсекунды,
покуда летишь в нокдаун.
И после глухого удара вдруг понимаешь: вот оно.

Рыба рыбе

Так улыбка будит фразу.
Так глаза хватают мрак.
Нам друг друга видно сразу:
Ты рыбак и я рыбак.

Так следы по перелеску
Вдруг уводят не туда.
Так судьба, закинув леску,
Тянет сердце из пруда.

Там серебряною сетью
Рябь плывёт поверх голов.
Спят в счастливом беспредметье
Твой улов и мой улов.

Светлым трепетом зовущим
Чешуя на них горит.
А внизу совсем беззвучно
Рыба с рыбой говорит.

Рыба рыбе говорит:
Не люби меня, не надо.
Всё отмокнет, отболит.
Лишь побудь немного рядом:

В тёмной жидкой тишине
Полежи со мной на дне.

* * *

Ты не знаешь, как я красива, когда сплю.
Как уходят морщины и тени сомнений с лица,
когда я наблюдаю, как мышь превращается в куклу,
или прячусь под розовым облаком, странно похожим
на гриб.

Ты не любишь меня настолько, чтобы заснуть
рядом. И тут не трагедия или драма,
а просто
такая реальность, где кто-то любит тебя
недостаточно. Это нормально. И всё, что нужно, –
как-то справиться с этим. Как-то привыкнуть.

И ты
посвящаешь всю жизнь тому, чтобы выяснить,
как.